



ОЛИВЕР

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ

Олли Ver
Белые лилии
Серия «Сказка», книга 3

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42611171

SelfPub; 2021

Аннотация

Сотканный из лжи и пороков, мир может быть острым лезвием – холодным оружием реальности. Но поверните его, и в блестящей глади полированной стали вы увидите собственное отражение. И если там лишь ненависть и боль, то все, что вам остается – разжечь из них огонь, взорвать сверкающий фейерверк похоти и разврата, превратить в разноцветный хаос людских желаний... Стать фокусником и написать страшную «Сказку» тонкими линиями страха, изящными завитками боли – белыми лилиями на коже любимой женщины. В оформлении обложки использовано изображение автора Annie Spratt/Lilies, ресурс unsplash. Содержит нецензурную брань.

Содержание

Предисловие	4
Глава 1. Недособаки и другие звери	12
Глава 2. Отпетый клерк	41
Глава 3. Поющая болью	67
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Олли Ver

Белые лилии

Предисловие

Мальчик смотрел на фигурку и в который раз пытался отвести взгляд. Пытался, но не мог – тонкий фарфор ослепительно переливался на солнце, лишая фигурку цвета, превращая воздушный, нежный образ в сплошной каскад отраженного света – игра бликов, отсветов и, совсем немного, тени лишь для того, чтобы еще ярче засверкало, заискрилось солнце на фарфоровых руках, обелило тонкую талию и потоком солнечных бликов спустилось по длинным ногам, играя в прятки с тенью на плавных линиях изящной икры, перетекающей в лодыжку.

– Что ты здесь делаешь?

Мальчик вздрогнул и обернулся.

Она стояла у раскрытой двери и смотрела на него, и, как и оба раза до этого, мальчик инстинктивно сжался от холода и ничем не прикрытого презрения в низком, бархатном голосе.

– Что ты здесь делаешь? – повторила женщина.

Мальчик поднял глаза и виновато скользнул взглядом по лицу женщины, как щенок, нагадивший на полу, облизывает лицо хозяина в надежде избежать наказания. Она не нака-

жет его. Вернее, не накажет так, как это принято у взрослых. Так, как это делает его отец. Зато она знает тысячу способов обидеть, и это вселяет в мальчика благоговейный ужас и... восхищение. Женщина смотрит на него, не отрывая взгляда – прямо, честно и оттого безумно болезненно. Она никогда не считает нужным скрывать свои эмоции, вот и сейчас серые глаза, переливаясь холодным металлическим блеском, откровенно остры – они скользят наточенными лезвиями по нежной коже ребенка. Но мальчик рад этому. Боится и в то же время впитывает каждую секунду бестелесного наказания, потому что, за все шесть лет своей жизни, так близко к ней он подходил всего дважды. Совершенно естественное любопытство, преклонение перед неизвестным смешивается с банальным страхом и рождает нервную дрожь – руки мальчика еле заметно трясутся. Её глаза – острым уколом в его руки – заметила. Уголок тонких губ едва заметно поднимается, рождая горькую ухмылку. Он запомнит её на всю жизнь – он будет обращаться к этой ухмылке, копировать её неосознанно, даже не вспоминая его первоисточник. Секунды, минуты... Тело женщины оживает и медленно пересекает комнату. Её движения – неспешные, сдержанные – запускают в сердце мальчика каскад восхищения: глаза жадно впитывают танец тонких запястий, игру света в волосах и крупные волны тяжелой ткани длинной юбки. Словно она плывет в сахарном сиропе – медлительная, тягучая, невероятно музыкальная. Он слышит собственное дыхание, пыта-

ется спрятать его внутри, запереть, задушить, чтобы она не слышала, какой он маленький, какой он трусливый... Тонкое, гибкое, высокое тело проплывает мимо ребенка и его окатывает волной запахов – духи с ароматом цитрусовых и корицы, еле заметный шлейф кофе и тонкий, почти неуловимый, но самый уникальный и оттого пленительный, запах её волос. Он вдыхает его, он неотрывно смотрит на высокую фигуру, желая услышать, понять и запомнить ритм музыки её тела. Такая высокая... ему никогда не дотянуться до неё.

Она подходит к письменному столу, загораживает спиной свои руки, и мальчику не видно, что она делает. Ему и не важно – он запоминает, впитывает движения стройной спины, изгибы изящных рук и шеи. В крохотном разуме, словно солнечный сноп света выжигает рисунок по дереву, отпечатывается восхищение – раскидывается белыми цветами, расходится в стороны завитками, плетется сетью тонких узоров, ложась на тонкое бессознательное самым ярким воспоминанием из детства. Она поворачивается – в её руках фарфоровая статуэтка.

– Ты ведь за этим пришел? – спрашивает она, глядя прямо в глаза.

Он судорожно сглатывает вязкую слюну, пытается понять её реакцию, предугадать последствия, но все, что он может прочесть, неосознанно и оттого неумело, что до безумия противен ей. Он не – знает почему, и гадать нет времени, а потому он отвечает:

– Я просто... хотел посмотреть.

Несколько секунд липкой тишины, пока она смотрит на него, заставляя крохотное сердечко зайти в трепетном страхе, окрашивая щеки ребенка белым. Она опускает глаза вниз, на тонкую куклу в своих руках и рассматривает её. Изящная, невесомая женщина раскинула руки-крылья, и мастер запечатлел её за секунду до взлета – одна нога уже поднялась в воздух, в то время, как другая все еще касается земли кончиками пальцев ног. Лицо фарфоровой куклы обращено к небу, и его архитектура рисует неподдельное счастье – она вот-вот взлетит, воспарит над людской толпой, поднимается в голубую гладь и полетит прямо к солнцу. Женщина еще немного вертит в руках фарфор, рассматривая парящую куклу, а затем поднимает глаза на ребенка:

– Знаешь, – говорит она, делая шаг навстречу мальчику, – а ведь это не подарок.

Он молча смотрит на неё. Его глаза становятся такими огромными, в них сверкает трепетный ужас перед женщиной, сокращающей расстояние между ними. А еще он не возражает – это подарок. Отец привез эту статуэтку три недели назад и подарил её женщине.

– Это не подарок, – повторяет она, делает еще один шаг. – Это издевка.

Она замирает в метре от мальчика. Её тонкие руки, изящные запястья и хрупкие пальцы вертят статуэтку, излучая музыку каждым движением, а затем разворачивают лицом к

мальчику.

– Ты ведь понимаешь, в чем смысл?

Мальчик не понимает, и она, возможно, видит это, наверняка понимает и просто хочет поквитаться.

– Смысл в том, – говорит женщина, – что мне никогда не взлететь. Понимаешь?

Мальчик отрицательно вертит головой. Женщина продолжает:

– Он знает, как я хочу летать. Он знает, что я никогда не смогу. Знает... и дарит мне парящую куклу.

В воздухе рождается звенящая тишина – ребенок очень хочет понять, всей душой желает осознать смысл услышанного, но не может. Он не знает, что значат её слова, не понимает, отчего так остро режет взгляд серых глаз, а тонкие губы становятся резкими, бледными линиями.

– Знаешь, каково это – застыть за секунду до взлета? – спрашивает она и протягивает фарфоровую куклу мальчику. Тот в безудержном акте подчинения тянет к ней руки, чувствуя нарастающую радость – получить в подарок хоть что-то из её рук. Женщина продолжает:

– Застрять в вечном старте? Быть замороженной в шаге от свободы?

Её рука тянется вперед, руки ребенка навстречу, и за мгновение до того, как пальцы мальчика прикасаются к фарфору, пальцы женщины разжимаются...

Фарфоровая кукла летит вниз и с хрустальным звоном

разбивается на тысячи мелких осколков.

Глаза женщины вспыхивают:

– Это вот так, Максим! – яростно шипит она.

Глаза мальчика распахиваются – они не верят тому, что видят. Они – огромные, напуганные – наливаются влагой. Он отрывает от пола серые глаза, и женщина, глядя в них, кривит тонкий рот от ненависти – у него её глаза. Мальчик немо открывает створки бледных губ – ни звука. Прозрачная слеза срывается с ресниц, катится по щеке, оставляя мокрый след. Женщина внимательно вглядывается в бледное лицо, наслаждается тем, как разливается по крошечному телу обида, как искрится в слезах боль, как немо плачет в нем ярость, беззвучно открывая маленькие пухлые губы. Женщина смотрит на него и все бессилие, что живет в ней, лавиной беззубой ярости – глупой, нелепой, сволочной – обрушивается на крохотного человека. Она шипит:

– Для тебя это – всего лишь минутное разочарование, – её голос обжигает, – а для меня – целая жизнь. И вот, как мы поступим...

Она наклоняется, садится на корточки, её юбка разливается волнами ткани по полу, и тонкие нежные пальцы, сгребая битый фарфор.

– Дай мне свои руки, – говорит она, не глядя на мальчика.

Он захлебывается немymi слезами, но послушно протягивает ладошки, сложенные ковшиком. Она собирает осколки – они впиваются в тонкие ладони, режут хрупкие паль-

цы – и вываливает горсть битого фарфора в руки ребенка. Мальчик смотрит на свои руки, видит, как острые углы разбитой куклы вонзаются в нежную кожу, и чувствует, как начинают саднить царапины. В середине груди осколков лежит крошенная кукольная голова – она смотрит прямо на него, и теперь, на фоне груди разбитого тела, счастье на её лице кажется сумасшествием.

Максим поднимает взгляд, смотрит, как пляшет ненависть в серых глазах его матери – они впиваются в него, режут сетчатку и забираются в глубину его страха, сплетаясь с тонкими нитями преклонения, которые рождает в нем женщина. Она протягивает руку и прикасается к его щеке – ледяные пальцы по горячей щеке. Ему нравится прикосновение льда, нравится ощущение её кожи, нравится тонкий аромат, льющийся из-под манжеты рукава.

– Запоминай, Максим, – говорит женщина. – Запоминай, каково это...

И Максим запоминает – впитывает, вдыхает, ощущает вкус. Чувствует, как клубится нежно-голубая обида, как вплетаются в неё тонкие нити черного страха, создавая глубокие, темно-синие завитки ненависти – они обволакивают его, забираются в крошечные трещинки памяти, забиваясь в темные углы сознания, и там, в тонком бессознательном, происходит нечто неожиданное – ненависть цвета аквамарина сталкивается с любовью – пульсирующей алой нежностью. И рождается сверкающее индиго – взрывается блес-

ком, оmyвает цветом крошечное сердце, топит, вливается в кровь и заполняет легкие. Сверкающее и искрящееся, оно проникает в каждую клеточку, забирается в самую суть крохотного человека, чтобы надломить и положить начало совершенному, прекрасному по своей сути уродству маленькой души. Сделать кем-то иным, кем-то совершенно новым, непохожим на прочих. Кем-то искалеченным. Оно оседает в недрах памяти и превращается в звездную пыль, чтобы залечь в темных закоулках прошлого до тех времен, когда не появится женщина, возрождающая искрящееся индиго одним взмахом руки.

Тонкая, изящная, хрупкая Кукла.

Глава 1. Недособаки и другие звери

Я крепко обняла дочь. Она вцепилась в меня ручками.

– Не реви, – говорю я, слыша, как клокочет мой собственный голос. Опускаю голову, глажу её по макушке, зарываюсь носом в её волосы и пытаюсь надышаться её запахом, впитать его запомнить, впечатать в подкорку. Господи, что же я наделала... – Оглянуться не успеешь, а я уже вернулась.

Она кивает и жметя к моему животу, чувствуя, как дрожит мое тело – оно врать не будет и вопреки голосу, который я кое-как держу под контролем, оно откровенно до жестокости: все плохо, Соня, все очень плохо.

Дверь подъезда открывается и выходит мой бывший муж. Быстрые, собранные шаги, волосы всклокочены, лицо помято и сон еще не до конца выветрился из головы, но холодеет внутри не от заспанных глаз, а от того, что я впервые вижу его в растерянности. Он тащит чемоданы и укладывает их в багажник машины. За ним следом – Оксана и вот он – момент истины. Мы застываем, глядя друг на друга. Настоящее и прошлое. Ох, не при таких обстоятельствах мы должны были знакомиться. Я вглядываюсь в её лицо – я жду, что она набросится на меня с кулаками. Я бы на её месте именно так и сделала. Я бы вцепилась в её лицо, каким бы виноватым, заплаканным и напуганным оно ни было, и дала бы её прикурить той тупой бляди, которая заставила всех плясать

под её дудку. И было ради чего? Бала бы цель великая, так нет же, чёрт – во имя своей вагины.

– Привет, – тихо говорит она.

И все.

Вот тут-то меня и накрывает отчаяньем – рвется, клочечет истерика, чувство вины, ненависть сплетаются тугим комком и прорываются слезами. Опускаюсь на колени и смотрю в напуганные глазенки моей дочери:

– Прости меня, Пуговица! Бога ради, прости... я так виновата. Я... – больше не могу говорить. Что бы я ни сказала, это все лишь пустой треп, жалкая попытка прикрыть свою задницу. Глухо рыдаю, а моя дочь, моя взрослая, не по годам умная и совершенно бескорыстная девочка, гладит меня по голове, прижимает к своей щеке и говорит:

– Не реви, – я киваю, я еле дышу, я жутко завываю ей в плечо. – Не успеешь оглянуться, как ты уже и вернулась.

Господи, дай мне сил!

Отстраняюсь от неё и смотрю так, словно вижу её (не смей, скотина! Даже в мыслях это слово не произноси!)... словно мы еще очень долго не сможем увидеться. Я не знаю, что будет дальше, что случится со мной уже через пятнадцать минут, и ей в этом хаосе места нет. Мой бывший обо всем позаботится, он даст её заботу и укроет от бед, спрячет, уведет, закроет руками глаза, и не даст смотреть туда, куда смотреть нельзя.

– Марин, нам пора ехать. Регистрация заканчивается че-

рез два часа.

Я поднимаю на него глаза, снова смотрю на Соню, целую щеку, пахнущую карамелью:

– Садись в машину, – всхлипываю я.

Она кивает, идет к задней двери, открывает её и садится в машину. Я поднимаюсь и смотрю на мужа, стоящего прямо передо мной:

– Прости меня...

Он ничего не отвечает на мои никому на хрен не нужные извинения. Он достает бумагу из внутреннего кармана ветровки и протягивает мне:

– Это телефон отца Оксаны. Домашний. Мы будем там через двое суток. Если сможешь – дай о себе знать.

– Куда вы летите?

– Геттинген. Это в Германии. Там у Оксаны живет отец.

– Ты же говорил, что её родители живут в деревне?

– Мать, – тихо и терпеливо говорит мой бывший муж. – Мать здесь, а отец в Германии. Они разведены.

Я киваю:

– Хорошо.

– Тебе деньги нужны?

– Нет, нет, я... Господи... – я хватаюсь за голову и бешено шарю глазами по его заспанному лицу. – Ты... Ты прости меня, Бога ради!

Он кивает, молча смотрит на меня, а затем опускает глаза:

– Нам пора.

Я мчусь сквозь ночь, разрезая светом фар густую тьму.

Три пятнадцать ночи.

Я лезу в бардачок – там презервативы и сигареты. Это не моя машина. Вернее, это не та машина, что дал мне Белка. Я поменялась «по ключам» с какой-то шпаной.

Ночной хит-парад одной из крупнейших радиостанций прервало срочное сообщение:

«Только что была получена информация с пометкой срочно – сегодня утром, в три часа пять минут по местному времени, один из богатейших людей края, важнейший бизнесмен, владелец, крупнейшего во всей области, санатория отдыха «Сказка», скончался от ножевого ранения на операционном столе, не приходя в сознание...»

Машина стоит на обочине, урча двигателем. Я – в нескольких метрах от неё, в глубокой канаве заросшей густой высокой травой.

Я ору в свои кулаки. Тело вьется в огне, нутро облито кислотой – она сжигает меня заживо, и я истошно ору. Руки трясутся, тело бьёт в конвульсиях, а из горла льется лава боли – такой яростной, такой неистовой, что я горю живьем. Боль такая огромная, что никакие слова в мире не помогут – я не смогу жить, мне теперь не для чего существовать! Моя дочь улетает за океан, и мне нельзя к ней. Я не смогу коснуться её рук, поцеловать крохотный нос и вдохнуть запах волос...

Набираю воздуха и ору, что есть сил. Сдохнуть хочу! Прямо здесь, прямо сейчас! Крик превращается в вопль, вой, хриплый всхлип в попытке набрать воздуха в легкие. Боль реальная, боль осязаемая сгибает меня, скручивает в бараний рог, и я валюсь на бок. Трава прячет меня от ночного шоссе, где несутся машины, разрезая ночь светом фар. Я кричу. Лежа на боку в густой траве я трясусь и завываю, я неистово ненавижу себя...

Максим. Мой безумный крот, король ненужных, предводитель бездомных и коронованный принц нелюбимых. Мальчик мой... Снова истошный крик. Молю Бога о скорой смерти, как прощении, ибо я уже мертва, но, почему-то все еще дышу. Никто не выдержит такую боль, никто не сумеет это пережить, так не мучай же меня, Господи! Даруй тишину и покой, потому что я не смогу пройти через это. Память превращается в блестящие, острые лезвия – вспоминаю его руки и море крови, и боль разрезает мое нутро. Никакой анестезии. Я сворачиваюсь и кричу, я молю о пощаде, упираясь лбом в свои колени. Тело трясется, тело гнется, и я – гребанный Уроборос – я пытаюсь сожрать саму себя. Но получается лишь гореть – гореть синим пламенем, кричать под пытками собственной памяти, режущей меня живьем. Агония заняла мою голову, закрыла собой целый мир, затуманила сознание и теперь перед глазами одна единственная картина – глаза цвета стали, в которых боль и любовь стали единым целым. Как же тебе не повезло с женщинами. С близкими женщи-

нами – одна покалечила, другая...

Тело сдаётся и содрогается – желудок поднимается наверх и меня выворачивает. Я всей душой надеюсь, что это предсмертная агония, пока мое тело выливает из себя все, что есть. Понимаюсь на четвереньки, вытираю рот рукавом и смотрю перед собой. Все, что я есть – мерзкая лужа перевернутого прошлого.

У меня больше ничего нет.

Я теперь никто.

Я мертва.

Спустя один год.

Керамическая форма разлетелась на два больших и тысячу маленьких осколков, картофельная шрапнель забрызгала половину кухни, а вывороченный изнутри фарш напоминает россыпь крохотных мозгов. Смотрю на сие великолепие и думаю: «Наверное, с руками не из жопы жить гораздо удобнее. Но я этого так никогда и не узнаю». Тяжело вздыхаю и аккуратно опускаюсь на колени – торопиться уже некуда, ужин откладывается, поскольку весь лежит на полу. Осторожно собираю осколки. Есть перехотелось совсем, теперь просто хочется навести чистоту и лечь на диван. Неторопливо, осколок за осколком, собираю кулинарное фиаско, огибая островки раскуроченной картофельной запеканки.

Снаружи скрипнула и открылась калитка. Я замерла – как

ни старайся, как ни крути, а во мне нет спокойствия – любой шорох, любой звук и каждое движение тени сковывает мое нутро. Вот и сейчас, стоя на четвереньках посреди кухни, я застыла в позе охотничьей собаки, учуявшей дичь. Несколько мгновений тишины, в течение которых мое сердце заходится, отбивая чечетку, мои уши забивает ритм, спина покрывается испариной, по рукам легкая рябь...

Тяжелые шаги по деревянным ступеням, по доскам порога, скрип тяжелой входной двери и:

– Тощая, ты дома?

Я шумно выдыхаю, рвано и нервно хватаю воздух, и вот уже легкая дрожь в руках перерастает в крупную нервную тряску. Как же я рада слышать её голос. Тяжелые шаги в моей прихожей, потом по коридору, но не на кухню, а в комнату:

– Доходяга! Где ты?

Я слушаю её тяжелый, неспешный топот по моим комнатам и тихое бурчание себе под нос:

– Подохла, что ли...

Шаги на пороге кухни, и она басит:

– Однако...

Я ничего не отвечаю – я тщетно пытаюсь совладать с трясущимися руками, пока баба ростом под метр девяносто рассматривает картофельную запеканку, останки формы для запекания и мой зад. Я ползаю на четвереньках по полу кухни, забираюсь под стол за крупными осколками, а она смотрит, как ходят ходуном мои руки. Она говорит:

– Слушай, а как называются те недособаки?

Прокашливаюсь, чтобы она не учуяла легкий налет паники в моем голосе, а затем:

– Недосабак бессчетное количество, – бубню я из-под стола. – Какие именно?

Огромная женщина бросает на кухонный стол пухлый конверт и обходит стол с другой стороны. Она достает из ниши между стеной и кухонным гарнитуром веник.

– Аки тараканы чернобыльские – трясущиеся ножи, глаза навывкате...

– Той-терьер.

– Да, да... так вот ты – той-терьер, – она обходит стол и машет веником мне в лицо. – Отойди.

Я вздыхаю, и пячусь на четвереньках назад, вылезаю из-под стола, а затем сажусь на задницу, глядя, как ловко она орудует этим нехитрым инструментом. У неё все ловко получается, оттого мне кажется, что она была дарована мне свыше за какие-то, неведомые мне, добродетели, дабы уберечь меня от несчастного случая со смертельным исходом. Любим: моя страховка на случай удара током, в попытке самостоятельно починить розетку; мой гарант выживаемости в походе за грибами; моя непоколебимая уверенность в том, что соседка-Глебушка из дома в конце улицы не попытается зайти на огонек (который мерещится ему всякий раз в начале третьего литра) и не начнет рассказать мне о вреде одиночества в моем возрасте. Правда, каков он, мой возраст,

этот алкаш сказать не может, потому как для того, что бы хоть на глазок прикинуть, нужно, чтобы этот самый глазок хоть изредка смотрел прямо, а не на своего собрата по переносице. Поэтому-то Римма рассказала ему о вреде сбитого прицела и длинного языка сразу же, как только впервые обнаружила его, штурмующего порог моего дома.

Вытаскиваю ноги из-под зада, упираюсь спиной в шкафчик кухонного гарнитура. Мой взгляд лениво рассматривает огромную спину, серым айсбергом возвышающуюся над столешницей – она такая здоровая, что почти все люди рядом с ней – той-терьеры. Неудивительно, что с ней так спокойно. От неё веет самообладанием, и это становится чем-то странным – давным-давно мне не было так спокойно рядом с человеком. Хотя «спокойно» – неподходящее слово. Она – стена, и я затравленно поглядываю поверх её плеча на крохотный островок внешнего мира, которым наградила меня судьба.

А давай, сбежим?

Стискиваю зубы, сжимаю кулаки. Взгляд вперед и вверх – там сугроб огромной, крепкой спины.

Давай, заберем твою дочь и рванем в деревню?

Закрываю глаза, мотаю головой, как упрямая кобыла – желваки натянулись струной, ногти впились в тонкую кожу ладоней.

Куда-нибудь в глушь, где люди даже не догадываются, что телевидение уже давно цветное?

Заткнись! Заткнись!!! Закрой свой рот...

По экрану зажмуренных век – калейдоскоп картинок – они сводят меня с ума, прожигают дыру в измученном сознании, и я быстро дышу. Шелест веника по полу, стеклянная дробь сгребаемых осколков заглушают немую истерику, и я почти уверена, что Римма не слышит меня. Почти... Рука – быстрым рывком – к переносице – пальцы сдавливают ее, словно, хорошенько надавив на нос, можно отвлечься от сверла в мозгу – тихий, спокойный голос, абсолютно уверенный в том, что его будут слушать, не дает мне нормально дышать. Я слушаю его до сих пор – он будит меня по ночам, сливаясь с моим криком, он шепчет мне мое имя, и я не понимаю разницы между прошлым и настоящим, сном и явью – я теряю нить реальности. Пытаюсь спрятать глаза ладонью – мне кажется, моя воспаленная память транслирует его лицо на весь гребаный мир, и стараюсь, как могу, спрятать, скрыть, мать его, запихать его ухмылку, лицо, полное превосходства над моей похотью, и ледяную сталь серых глаз, которые скользят по моему лицу тонким, холодным лезвием опасной бритвы. Вторая рука ложится на мое лицо, и вот створки запирают меня и мои воспоминания в темноте моих ладоней: снова в клетке, хищник в противоположном углу оскалился, и розово-красный язык влажно скользит по вибриссам, завидев мою панику. Вздрыбились холка, хищная морда льнет к полу – я в нескольких секундах от истерики. Только теперь меня некому спасать. Где-то в горле курлыка-

ет отчаянье. Бога ради, оставь меня в покое! Грудь перемалывает воздух, сердце пронзительно взывает, и с каждым ударом все больше отдается в висках паника: секунда, две, три... Ну же! Давай, черт тебя дери, давай! Взрывайся! Раздирай все к чертовой матери! (*Я буду тебя бить. Больно...*) Чтобы ничего не соображать, не чувствовать, не видеть, не слышать. До боли, до судорог, до крови... чтобы подохнуть прямо здесь и сейчас – из жалости, из сострадания (*пусть это будет, как поцелуй, а не как удавка*). Но в этом теперь моя главная проблема – ни зарыдать, ни заорать, ни сдохнуть по-людски. Штопор тоски – до самого сердца, и тонкое острие упирается прямо в одиночество – остро, больно – давит... но не протыкает. Хочу заорать, завывать, чтобы каждый на этом, Богом забытом, куске земли услышал меня, чтобы все то, что отравляет меня, растворилось в слезах, вышло потоками пустой воды по щекам. Стереть её ладонями и забыть. Но я открываю рот и... молчу. А тоска ноет, гудит в венах-проводах, сводит судорогой горло. Сидит внутри, вцепилась в трахею, впиалась острыми когтями – я слышу её быстрое, судорожное дыхание. Да вот только это не она дышит, это – я.

Будешь подыхать один, в грязи. Как собака...

Только теперь чувствую на себе быстрые взгляды-уколы Риммы. Слепая, тупая ярость, делает из меня суку, каких свет не видывал. Свет, может, и не видел, а Римма насмотрелась сполна. Молчит. Только и слышно, как веник метет

по полу, да звон керамических осколков, скребущих пол. В темноте моих ладоней пятится хищная тоска – облизывается, вертит в стороны длинным, шелковым хвостом, отступает. Не для того, чтобы уйти, но чтобы вернуться, когда я буду совершенно одна. Дыхание – тише, медленнее, но ладони все еще прячут лицо. Мне не стыдно, просто хочется побыть в темноте. Слушаю, как мусор сгребается в совок, как открывается дверца, и картофельная запеканка с фаршем и битой керамикой шумно летит в мусорное ведро. Снова шорох веника, шелест одежды и звук её шагов – я слушаю тихую музыку быта, белый шум повседневной жизни, и меня приятно согревает её размеренность – секунду назад я чуть не подошла от тоски, но Римма, как ни в чем ни бывало, подметает пол. Это очень успокаивает.

Убираю руки от лица. Римма прячет веник и совок в угол за кухонным гарнитуром, разгибается и поворачивается ко мне:

– Ну что, инфаркта не будет?

– Похоже, откладывается.

– Досадно. Я-то уже настроилась киселя попить. Вспоминала, где мой баян...

– В другой раз.

Поднимаюсь на ноги и только сейчас вижу конверт:

– Какого хрена ты молчишь? – взвизгиваю я.

Подлетаю к столу, хватаю пухлую бандероль. Римма закатывает глаза:

– Ну, ты ж вроде подыхать собралась. Не мешать же...

Но я её уже не слушаю – трясущимися от нетерпения пальцами поддеваю край конверта. Звук разрываемой бумаги. Я вылетаю из кухни, в коридор, к двери спальни, на ходу вытаскивая плотно сложенные листы – она никогда не пишет, как скучает, никогда не жалуется, но семь листов крошечными буквами, плотными строчками на тетрадных листах в клетку... тут не нужны слова. Залетаю в комнату, хлопая дверь – не из тупой стервозности, случайно – и там, в тишине спальни: «Мамочка, привет! У меня все хорошо. Вчера ходили в зоопарк...» Спасибо тебе, Господи! Меня трясет, руки лихорадочно перебирают тонкие листки с нежными, теплыми закорючками-буквами, заливающими мою спальню светом и теплом. Девочка моя. Мое солнышко. Моя Пуговица... Глаза жадно скользят по строчкам, впитывая тепло слов, запоминают каждую букву, несмотря на то, что я прекрасно знаю – перечитаю еще три миллиарда раз, выучу наизусть каждое слово, запомню все обороты речи и тонкие, полупрозрачные завитки тоски между строк – мне так тебя не хватает! Чувствую себя мерзкой тварью, ненавижу себя за её сдержанное отчаянье и тоску, сочащуюся из каждой строки. Когда же закончится этот кошмар? Перечитываю второй раз, третий. Всякий раз, словно она здесь, рядом, обнимает меня ручками и тихонько шепчет: «Все будет хорошо». Наконец, бережно складываю листы в конверт, но еще долго сижу на кровати. Мое тело покрыто испариной, обжигают

ще-горячее внутри – мне требуется время, чтобы усмирить его, перестать трястись, привести в порядок обезумевший от тоски взгляд, но все равно, когда я выхожу из комнаты, прохожу коротенький коридор и оказываюсь в кухне, Римма, грузно восседающая на табурете, поднимает глаза, критично разглядывает меня, мои красные глаза и трясущиеся руки, а потом говорит:

– Как ты вообще дожила до половозрелого возраста? У тебя же конец света каждый Божий день?

– Шла бы ты в жопу, – выдыхаю я.

– Пошла бы, но мы, вроде, и так в ней?

Я молчу.

– Нет, серьезно? У всех городских так «фляга свистит»? – никак не успокоится она.

– Слава Богу, нет.

Она встает с табурета:

– Воистину, слава! Пошли ко мне, поедим нормальной еды, – говорит женщина на выдохе.

– Нормальной... – недовольно мычу себе под нос. – Я нормально готовлю.

– Твой ужин в мусорном ведре. Дать тебе ложку?

– Выпить у тебя есть?

– Обижает... Самогонка! На кедровых орешках, кстати.

О, это нектар...

– Сойдет, – поворачиваюсь и иду в коридор, Римма следом за мной:

– Сойдет? Неблагодарное ты дерьмо.

– Да, наверное.

– Бесхребетное неблагодарное дерьмо...

– Безрукавку не забудь.

Двух рюмок мне обычно хватает, чтобы увидеть легкое зарево нирваны над горизонтом безысходности. Третья, чаще всего, бывает лишней, но не сегодня. Сегодня зашла очень легко, и теперь я блаженно пуста. Рассматриваю толстую столешницу, провожу ладонью по теплому дереву цвета меда и слушаю размеренную болтовню Риммы на фоне белого шума телевизора. Тепло и уютно. Ощущаю солнечное тепло, поднимающееся по пальцам от нагретого дерева, пьяное, расслабленное спокойствие женского голоса и слушаю небылицы из пластмассового ящика. Мое присутствие ничего не меняет, и, по сути, Римма говорит сама с собой, а потому я не чувствую никакой неловкости от собственного молчания. Поднимаю глаза. Полая внутри, каменная снаружи, я молча рассматриваю такую странную, такую удивительную женщину – классика славянского лица завораживает плавностью, округлостью линий, тонкостью форм и всевозможными оттенками различных цветов – от насыщенного янтарного, до нежного, пастельно-сливочного. От того сильнее контраст высокого, крупного тела, ладного, но большого, если не сказать, огромного. Она не толстая – просто высокая и здоровая. Красивая и грубая снаружи, сильная и честная внутри.

– Спасибо, – говорю я.

Она замолкает на полуслове. Блестящие от выпитого глаза смотрят на меня, выискивая сакральный смысл в сказанном, щурятся, елозят по моему лицу. Она говорит:

– Налакалась.

Я смеюсь:

– Почему обязательно «налакалась»? Мне не за что благодарить тебя?

Она молча закатывает глаза, а я продолжаю:

– За помощь, за поддержку, за дом, в котором я живу. По хорошему, я должна платить аренду.

– Чем?

Я пасую – пожимаю плечами. Действительно, нечем. У меня ничего нет.

– Тогда просто спасибо, – говорю я совсем тихо.

– Слишком часто благодаришь, – её теплое, круглое лицо становится усталым, по нему пробегает рябь раздражения.

– Это плохо? – спрашиваю я.

– «Слишком» – плохо всегда.

Когда три часа спустя я спускаюсь по деревянным ступеням её крыльца, небо над миром – черный бархат. Поднимаю глаза – звезды – сверкающими вспышками, словно искры от костра. В городе этого не увидишь. Позади меня тяжелые шаги Риммы, ленивые от выпитого, грузные от съеденного.

– Давай провожу тебя домой, – говорит она.

– Куда провожать-то? – пьяно возражаю я. – Через дорогу? Может, ты еще и целоваться ко мне полезешь?

Римма хмыкает:

– Было бы, что целовать... Тебя поцелуй, так ты ж, чего доброго, подохнешь от нервного напряжения.

Тут я останавливаюсь и разворачиваюсь, оказываясь лицом к скромному, для таких габаритов, бюсту. Поднимаю нос, нахожу ореховые глаза:

– А почему ты никогда не спрашиваешь, откуда я? Где я жила? Что делала?

Пьяный вызов в моем голосе мне противен, но Римму эта «синяя» бравада забавляет:

– Топай, топай... – смеется она, разверчивает меня в исходное положение, лицом к воротам в заборе и направляет мой нездоровый энтузиазм на выход.

– Нет, серьезно? – возражаю я, переступая ногами, чувствуя, как крепкая рука нежно, но настойчиво подталкивает меня к выходу. – Может, я проституткой работала?

– Очень полезное дело, – говорит Римма.

– Может, я террористам зады подтирала?

– Кесарю – кесарево, – отвечает она, и открывает тяжелую дверь.

Я выхожу на улицу, она – следом. Я опять разворачиваюсь, упираясь взглядом в соболиные брови, густые ресницы и снисходительную ухмылку в её глазах. Я говорю:

– Может, я человека убила?

Замираю – правда застывает в горле комком жутких слов. Римма небрежно скользит взглядом по моему лицу, ухмылка

тянет уголки красивых губ чуть вверх, и сейчас она похожа на Василису премудрую... или Василиска. Несколько секунд она изучает мое лицо, а затем говорит:

– Смотрела я как-то передачу заморскую о рыбе, которая раздувается, когда ей страшно.

– Рыба Фугу.

– Да, наверное. Так вот, смотрю на тебя и задаюсь вопросом – ты что, боишься меня?

Я задумываюсь – само собой, мысль эта посещала меня и раньше, но только сейчас она кажется мне до смешного абсурдной. Ну да, огромная, ручищи как у среднего мужика, ростом с фонарный столб, только все это скорее нелепые декорации очень порядочного человека, нежели пугающая действительность, и я говорю:

– Нет.

– Тогда сдуйся и топай домой.

Я смотрю, как в уголках теплых глаз рождаются морщинки искренней улыбки.

– Давай, давай, Джек-потрошитель, – тихо смеется она, – перебирай конечностями. А я прослежу, чтобы Глебушка не вылез из-под крылечка и не схватил тебя за ногу, аки вурдалак проклятый, – её руки ненавязчиво помогают мне поймать правильные ориентиры и легонько разворачивают.

– Гребаный Глебушка... чего ему дома не сидится? – бубню я.

Поворачиваюсь и пересекаю дорогу, не асфальтирован-

ную, просто прикатанную землю, ощущая, как Римма сверлит мне спину. Уже открыв калитку, я оглядываюсь и бросаю пьяный взгляд на женщину. Она машет мне рукой, я киваю и финальным аккордом окидываю картинку спящей деревни – дикая глушь, Богом забытое место, где самая модная обувь – разноцветные китайские сланцы.

Я захожу, закрываю за собой калитку, пересекаю внутренний двор и поднимаюсь на крыльцо. Еще дверь – я внутри. Тихо, темно и затхло. Дом, милый дом.

Легкое, невесомое прикосновение – волна прохлады по раскаленной коже. Тело откликается, отзывается нежной волной мурашек – открываю рот, но ничего не говорю, потому что... мягко, медленно, тонкой линией полукруга плеча вниз, по горячей коже предплечья. Оборачиваюсь.

Воздух леденеет в горле – сжимает, сгребает в охапку боль когтистой лапой. Не могу дышать...

Такой красивый. Смотрит на меня и улыбается. Нет в этой улыбке ничего хищного, жестокого, изуродованного – только бесконечная усталость и ласковая, такая живая, такая настоящая, теплая нежность... Мои пальцы к губам – закрываю рот руками, и пытаюсь поймать, спрятать, но его имя выдохом сквозь горячие пальцы:

– Максим...

Губы открывают жемчуг зубов – он тихо смеется, опуская

голову. Его смех – иглами в мое горло – я плачу. Это боль? Это любовь? Плачет во мне, стонет, хватается меня за горло и не дает сказать ни слова, сковывает, стягивает мое тело, рождает, физически ощутимую, боль.

Поднимает на меня глаза и хитро щурится – мой Максим расцветает в тонких морщинках в уголках глаз, в кончике курносого носа, надменно задранного вверх, в хитрой улыбке и такой живой, такой яркой искрой – огнем, сверкающим в стальной радужке серых глаз. Он пожимает плечами, и его ладони скользят в карманы светлых джинсов. И тут, блеснув подброшенной монеткой, страсть гаснет – его глаза становятся внимательными, губы прячут жемчуг зубов, и улыбка превращается в тонкий полумесяц. Он говорит:

– Прохладно здесь.

Тонкая шерсть светлого свитера струится по плечам, рукам, груди... мне так хочется прикоснуться к нему. Открываю рот, но ничего не говорю – в моем горле ледяная тишина – немая, пустая, холодная и мертвая. Но я хочу говорить! Мне так много нужно сказать. О любви, о тоске, о предательстве. Господи! Как же много я хочу рассказать тебе! Отдать, разделить на двоих, потому что мне одной этого слишком много. Выдрать из груди тоску, протянуть тебе окровавленные руки – смотри, мой безумный крот, смотри, как я горю! Как пылает, корчится, мучается мое больное сердце. Красиво? Тебе нравится?

Он ежится:

– Очень холодно.

Брови хмурятся, и курносый нос опускается вниз – его лицо становится задумчивым. И только теперь я вижу легкую дрожь – все его тело мелко трясется. Между нами вырастает пустота – не понимаю, как это случилось, только теперь он, стоявший на расстоянии вытянутой руки, в нескольких метрах от меня. Я хочу подойти, я пытаюсь сделать шаг, но мое тело вязнет в прозрачной пустоте между нами. Его пробивают разряды – судороги пронзают любимое тело, и я беспомощно хриплю. Он стискивает зубы, закрывает глаза, хмурит брови. Я рвусь вперед, пытаюсь поднять ноги, но обе они приросли к земле – я не могу сдвинуться с места. Огонь во мне – внутри, снаружи. Я – огонь. Мне бы только сделать шаг, преодолеть несколько метров... Я смогу согреть тебя! Смогу, просто дай мне...

Возникает цвет – чуть выше пояса джинсов, с правой стороны, светлая шерсть свитера расцветает красным – жуткий, алый цветок раскрывает лепестки, наливаясь, лаково блестит густой, горячей кровью.

Максим вздрагивает, внимает руки из карманов, смотрит на свой живот и замирает – глядит, словно никак не может понять, что это. Робко, испуганно. Он поднимает на меня глаза и в них... удивление. Искреннее, настоящее, по-детски наивное. Мой Максим – король отверженных и брошенных, коронованный принц никому не нужных... вот какими были серые глаза, пока жизнь твоя казалось тебе нормальной

– блестящие серые искры, грозовое небо, сверкающее разрядами молний, тонкое, хрупкое любопытство и...

Он опускает голову – его пальцы касаются красного пятна, подушечки окрашиваются кровью. Он смотрит на руку – красное лаково переливается, когда он медленно вертит кистью, рассматривая её. Он снова поднимает на меня глаза:

– Смотри... – говорит он удивленно и протягивает мне окровавленную руку...

Просыпаюсь от собственного воя – одеяло удавом обвило ноги, руки вцепились в подушку. Грохот крови в ушах, быстрая, громкая судорога сердца... Минута, две, три – лежу с закрытыми глазами, слушаю свое тело и пытаюсь изо всех сил заглушить его голосом разума. Но тело такое громкое, а разум... разум еле шепчет что-то бессвязное, что-то совершенно нелепое и глупое – «так было нужно», «у меня не было выбора», «я должна была...». Бесконечная цепь идиотских оправданий. Им нет числа и все они такие бесполезные, такие жалкие, что не верят сами себе, поэтому никаких восклицательных знаков, лишь бесконечное, беззубое, немощное многоточие. Я лежу, я мысленно заставляю свое сердце сбавить обороты. Пожалей меня, Максим – оставь меня в покое. Я думаю, как же живут люди с таким грехом на своем горбу? Как они учатся спать по ночам?

Открываю глаза – за окном предрассветные сумерки, и где-то за бархатной кромкой леса брезжит зарево приближа-

ющегося утра. Больше мне уснуть. Сажусь, распутываю ноги и потом еще какое-то время смотрю на них, словно они не мои. Смотрю перед собой, слушаю свое сердце, ловлю первые блики рассвета краем глаза. Наверное, до конца жизни я буду расплачиваться ночными кошмарами, ледяными ладонями и гулким биением сердца. Но самое отвратительное во всем этом то, что это далеко не самая высокая цена – несо-размерно мало, совершенно не по заслугам, малой кровью, но я с трудом выдерживаю даже это.

Какое-то время сижу с пустой головой, но потом поднимаюсь – ноги – в растоптанные тапки, халат – на плечи, и иду к умывальнику.

Глухие удары ног по притоптанной дороге – я поднимаюсь вверх. Оглядываюсь – позади осталась крохотная деревенька, в три улицы и один перекресток. Численность всего поселка не превышает количества жильцов среднестатистического многоэтажного дома. Поворачиваюсь и бегу вперед. Дорога поднимается на небольшой пригорок, и старые стоптанные кеды послушно уносят меня подальше от разноцветных крыш. Кислород приятно обжигает трахею, икроножные мышцы «забились» и теперь капризно ноют. Ну, ничего. Это приятное неудобство и оно стоит того – голова пуста, и все тело кричит о том, что его несправедливо вытащили на улицу в шесть утра, плохо одели, не покормили и, ко всему прочему, заставляют бежать. О, это прекрасное чувство, когда

низменные потребности берут верх. Когда «спать», «пить» и «есть» тянут вожжи на себя, клянча, ноя, а иногда кроя матом, ибо в эти мгновения весь сложный, многослойный, муторно-нудный мир бесстыдно обнажается и становится до примитивности простым – спать, пить, есть. Тяжело дышу, но решаю ускориться, чтобы выбраться на пик как можно скорее. А там – спуск, и станет гораздо легче. Раньше был спортзал, теперь – пыльная тропа, притоптанная ногами и временем. Но так мне нравится гораздо больше – кеды мне велики и, по-моему, были сотворены еще в те времена, когда детишкам повязывали красные галстуки, дорога неровная, и время от времени я то проваливаюсь в яму, то запинаясь о корягу и периодически в меня врезается всякая крылатая мошкара. Зато воздуха так много, что мои легкие ненасытно поглощают порцию за порцией, а тело плывет в океане кислорода, впитывая его каждой клеточкой кожи. Забираюсь на вершину и, неожиданно для себя, останавливаюсь. Теперь надо мной нет всевидящего ока платного тренера – мужика, перекаченного настолько, что так и подмывает достать иголку и, любопытства ради, ткнуть в бицепс. Теперь никто не скажет мне: «Не останавливаемся! Отдыхать дома будешь. Еще два подхода». Я теперь сама себе хозяйка и, вопреки задуманному, я оборачиваюсь и снова смотрю на крошечный островок жизни посреди моря гектаров необжитой земли. Съедаю утренний воздух быстрыми, жадными вдохами и смотрю вниз. Отсюда мне кажется, что я, наконец, вырвалась

из этой юдоли скорби – освободилась от тяжести собственного тела, оттолкнулась и полетела над болотом, в котором увязла и думала, что уже не спасусь. Сгибаюсь, упираюсь ладонями в колени и теперь передо мной только кеды. Дышу и думаю, что, возможно, их первый хозяин уже давно отправился к праотцам. Ловлю себя на непривычном равнодушии – брезгливости как не бывало. Очевидно, обронила где-то в прошлой жизни. Ну что ж, туда ей и дорога. А вот когда я поднимаю голову и смотрю на крошечные домики, мне становится на редкость противно – там душно, тесно, и мне туда не хочется, там звенящая тишина превращается в пытку, но самое странное, что время там какое-то ненастоящее, словно бы абстрактная величина – оно фальшивым туманом рассеяно в воздухе, застыло и «висит». Хотя, на самом деле, стремительно летит вперед. Слово вся эта деревушка бессовестно обманывает меня. Набираю полные легкие воздуха и шумно выдыхаю, получая необъяснимое удовольствие от совершенно обыденного действия, а затем разворачиваюсь и бегу дальше.

Возвращаюсь где-то в половине седьмого. Иду мимо своего забора и краем глаза «цепляю» исполинскую фигуру Риммы в окне противоположного дома – сидит на кухне. Знатно пропотев, благоухаю буденовской лошадью, наверное, именно поэтому решаю порадовать собой женщину, которая настаивает на том, что я, кроме как под мужиком, и не потела-то ни разу в жизни. Знай наших! Поворачиваю и пересе-

каю дорогу. Открываю калитку, пересекаю двор и пять лесенок. Стучу в дверь, но тут же тяну её на себя – все никак не могу запомнить, что двери здесь не запираются.

– Римма! – кричу в кухню уже из прихожей, и пока я снимаю один кед, слышу бархатный голос женщины:

– Привет, зайчик.

Я замираю – по телу мгновенно пробегает ледяная судорога.

«...хм, довольно любопытно. Слушай: «Древние афиняне перед началом войны бросали копьё в неприятельскую сторону. Персы требовали земли и воды в знак покорности».

– Это ты к чему? Что ты там читаешь вообще?

– Просто стало любопытно, как объявляли войну в древности. Но дальше википедии не прошла.

– Ну ты, дохлая, даешь... Уж не Глебушке ли ты войну объявить собралась?

– Нет. Хотя копьё в него я бы бросила.

– Положи мой телефон на место.

– Мне вот интересно – если начнется война, как мы с тобой и две сотни наших соседей узнают об этом? Здесь даже телевизоры есть не у всех, а уж про мобильники я вообще молчу. Представь себе – началась третья мировая, или нашествие инопланетян, чума по всей Земле, а мы сидим – чай пьем...

– Не переживай, у меня телефон имеется. Я тебе обяза-

тельно сообщу.

– Я надеюсь, это будет трагично, как в кино – выйдешь в чисто поле, раскинешь руки, вздымая в небо светлый лик, и заорешь: «не-е-ет...»

– Скорее, буднично – зайду к тебе и еще на пороге скажу: «Все, зайчик, допрыгались».

– Никакой романтики. Хотя, знаешь, из твоих уст «зайчик» звучит злее атомной войны.

– Ну вот, как только услышишь, как я тебя зайчиком зову – разворачивайся и беги со всех ног...»

Зайчик... Рот мгновенно высох, язык мертвой глыбой упал на дно рта и вот я, трясущимися пальцами, натягиваю кед обратно на ногу. Римма не дура, и похоже, в этой глуши всем есть что скрывать.

Беги со всех ног.

– Звезда моя, – громко чеканит Римма, – не поленись захватить с собой мою безрукавку. Она в прихожей висит.

В огромном доме тишина пронизана электричеством – словно открыли вентиль газа, а я собираюсь зажечь спичку. Безрукавка висит на одном из крючков. Забываю, как дышать – быстро лезу в карман. Сердце мгновенно заходится, грохочет, долбит басами в ушах... В кармане что-то круглое, цилиндрическое. Быстро, судорожно вытаскиваю – газовый баллончик. Спасибо Римма. Секунда, удар сердца... Срываюсь с места. В один прыжок оказываюсь у выхода. Толкаю

обеими руками – грохот открывающейся двери. А в следующее мгновение вспыхивает спичка – тишина дома взрывается звуками и движением. В одну секунду дом заполняется людьми. Я успеваю услышать рев Риммы и грохот завязавшейся драки – стулья на пол, глухие удары, маты, возня и звон посуды. Сколько же их! Вылетаю на крыльцо. За моей спиной тяжелый топот нескольких пар ботинок. Слышу, как кричат за стеной, и отчетливо различаю рокот Риммы, удары, стон ломающейся мебели. Лечу по степеням вниз – не чувствую ног. Быстрее, быстрее! Позади еще снова грохочет дверь и быстрый топот уже на крыльце. Приземляюсь, отталкиваюсь совершенно бесчувственными ногами – тело взрывается адреналином и летит вперед. Легко и быстро оказываюсь у ворот и хватаюсь за ручку. Давай же...

Больно! Дикая боль в левой руке! Меня разворачивает и припечатывает к забору грубым рывком. Желудок ухает вниз, сердце спотыкается – теперь я вижу их. Двое – не огромные, не здоровые, самые обычные, среднестатистические люди, если бы не глаза... Поднимаю руку на уровень лица и жму кнопку. Один из них шипит: «Сука...» Удар выбивает из руки баллон. Еще удар – боль пронзает мое утро, складывает пополам. Беззвучно открываю рот, пытаюсь вдохнуть. Боль вонзается, разливается по животу, горит, пробирается по нервным окончаниям и ввинчивается в прямо в мозг.

...глаза зверя, который, не задумываясь, свернет тебе

шею.

Что-то тонко впивается в ногу.

Опускаюсь на четвереньки, заваливаюсь на бок, когда по ребрам прилетает пинок. Ублюдок. Темнота наваливается так быстро, что я даже не успеваю понять, что валюсь лицом прямо к ногам двуногих зверей. Последняя вспышка мысли до нелепого проста – пожалуй, Глебушка – не худший из людей.

Глава 2. Отпетый клерк

Перед моими глазами млечный путь – полоса звездного вещества длиной в миллиард человеческих жизней. Руки медленно ласкают мое тело – пальцы нажимают, отпускают, скользят, еле слышно шепчут, чтобы надавить с новой силой. Закрываю глаза и окунаюсь в приливные волны удовольствия. Наслаждение послушно следует за его руками. Мое тело – наш храм. Открываю глаза. Мои зрачки расширяются, наполняясь негой. Они скользят по кромке галактики – светящиеся скопления звезд, планет, спутников, словно отдельные островки в бездонном море пустоты. Где-то там, в густой черноте космоса, наверняка, есть жизнь. Должна быть, а иначе мы не просто одиноки – мы обречены. Волна накрывает меня, и я снова закрываю глаза. Нет в мире рук, которые любили бы меня больше. Касание рождает импульс – он следует за его пальцами, оставляя после себя вождение, и я слушаю эхо низменных инстинктов. Они, тихие, сонные, предстают передо мной в своей истинной красе – оголяются, беззастенчиво снимают с себя запреты и табу. С ним нет ничего невозможного. В какой-то момент тело забывает, что лежит на кровати, и мне кажется, что я парю в невесомости. Плыву по млечному пути, случайно задевая звезды рукой – они оживают, сбиваются с орбит, кружатся, ломают все на своем пути: сносят спутники, раз-

бывают планеты и беззвучно врезаются в другие звезды. Так ломается привычный порядок вещей. Раскрываю тяжелые губы, и слабая вибрация воздуха становится моим голосом:

– А как мы планируем стареть вместе?

Нажмим, поглаживание, легкое прикосновение.

– А в чем проблема? – тихо откликается он.

Забавно, но я и сама не знаю, насколько музыкально мое тело, пока он не прикасается к нему. Сколько во мне скрытой сладости...

– Проблема в... – голова совершенно не соображает, – ... в восемнадцати годах разницы.

Касание, поглаживание, нажмим.

– Семнадцать с половиной. И это не проблема.

Россыпь звезд на потолке, огромная бесконечная вселенная в вальсе вечности. Его руки выманивают похоть из темных уголков моего тела на поверхность моего «я».

– То есть, проведив свою немолодую супругу в последний путь, ты прямо с кладбища рванешь в бордель? Даже не переоденешься? Эй, поосторожнее там... – смеюсь я.

Приподнимаюсь, опираюсь на локти и смотрю вниз:

– Мне так больно.

Он улыбается и осторожно кладет мою ступню на кровать:

– Ты зацикливаешься на возрасте. Это глупо.

– Что в этом глупого?

Он поднимается на четвереньки и ползет ко мне, и пока

он проползает мимо моих ног, я отчетливо вижу, что массаж возбуждает не только меня.

– Ты пытаешься измерить ценность «Моны Лизы» линейкой.

Он мягко толкает меня, и я падаю на подушку. Руки, горячие, ласковые, берут мои ладони и кладут на ширинку – послушные пальцы ложатся на ткань и чувствуют твердую, горячую плоть. Как же я люблю твоё тело... сильное, гибкое, грубое отражение, совершенной в своём сумасшествии сущности. Теперь мои руки возвращают возжелание – под пальцами живет, разгорается, пульсирует любимое тело. Нажим, поглаживание, легкое прикосновение. Мой взгляд скользит вверх, и я люблюсь тем, как он закрывает глаза, как наслаждение ласкает прекрасное лицо, заставляя крылья носа трепетать. Касание, поглаживание, нажим. Его губы раскрываются:

– Надо вставать...

– Замолчи...

Мои руки – вверх, к ремню. Стараюсь не торопиться, но низ живота сладко жжёт медовая горечь, разливается по телу, поднимается к губам, рождая:

– Я хочу тебя...

Краем глаза – яркая вспышка.

Руки ласковы, руки нежны – ремень, пуговица брюк и молния.

– Марина, вставай... – шепчет он.

*Еще одна вспышка – периферия сверкает, отвлекает.
Быстро поворачиваю голову...*

*На полу лежит осколок – длинный, тонкий кусок стекла.
Сглаженные края – порезаться нельзя, но можно...*

– Вставай, – голос громче, слабо звенит сталью.

... можно проткнуть.

Поднимаю глаза – любимое лицо застыло. Грубая силиконовая пародия на Максима: пустой взгляд, бескровные губы, кожа – грубой резиновой маской, и нет, совсем нет жизни. Поворачиваю голову...

Весь пол засыпан осколками битого стекла.

– Вставай! – раскатом эхо по углам комнаты.

Комната дрожит, искажается, плывет.

– Вставай!!! – оглушительным громом.

Одергиваю руки, зажимаю уши...

– ...вставай! Вставай!

Открываю глаза – передо мной размытое пятно. – Вставай! – орет оно мне, а в следующее мгновение крепкая ручища хватает меня и дергает наверх. Я не поднимаюсь – меня подбрасывает. Тело окаменевшее, неповоротливое срывается, ведомое паникой, ноги заплетаются и совершенно не слушаются – несут, вяжутся, словно нити, через раз касаясь земли. Почти падаю, но крепкая рука тащит, несет за собой вперед. Он кричит:

– Быстрее! Давай же...

Сиплое дыхание, рваные движения. Я смотрю, но не вижу – мир вокруг трясется, смазывается в быстром движении, очертания и силуэты, словно тени в мутной воде, круги и рябь мучают мой желудок. Меня мутит. Вокруг много серых пятен, их движения хаотичны, и они истерично взвизгивают. Мое дыхание тяжелеет. Человек впереди очень торопится. Серые пятна становятся громче. Поднимаю голову и смотрю вправо, щурюсь, чтобы сфокусироваться, но тут обзор закрывает еще один человек. Он бежит с нами. Или туда же, куда и мы... Запинаюсь. Серые пятна все громче, и я узнаю в манере их голосов что-то знакомое, но в голове туман и жуткое месиво из обрывков снов, памяти, реальности и внутренних ощущений, не дает мысли оформить окончательный образ.

Спотыкаюсь. Матерюсь. Спотыкаюсь снова.

Лестница.

– Поднимай н-ноги! – выплевывает человек впереди.

Тащу вверх чугунные ступни. Одно из серых пятен резко вырывается вперед и бросается в нашу сторону. Человек справа от меня пинает пятно, и оно начинает пронзительно скулить.

– Открыто? – кричит человек впереди.

Это не мне. Откуда далеко раздается ответ, которого я не понимаю, но мы все еще поднимаемся вверх и вперед.

Грохот, лязг и какой-то слабый звон.

Внезапно становится темнее. Звуки шагов из глухих пре-

вращаются в звонкий топот, множась, отражающийся. Позади – грохот и стеклянно-металлический звон.

Моя рука освобождается, и я останавливаюсь. Сгибаюсь пополам, верчу головой и упрямо мычу. Тело мгновенно покрывается ледяной испариной, нутро сжимается и все, что есть во мне, собирается наружу. Где-то позади – гремит и лязгает, лают людские голоса. Голова кружится, и я дышу сквозь сжатые зубы. Пол под ногами идет волной, закручивается воронкой. Вдалеке возня и гам. Я дышу. Дышу. В голове – карусель, тело наполняется ватой и начинает дрожать под собственным весом. Руки – ледяные, мокрые – к лицу. Только бы не упасть в обморок. Где-то за спиной гомон и скрежет. Вдох – выдох, вдох – выдох... Мир замедляется, выравнивается. Медленно, осторожно мир обретает четкие контуры и былую твердь. Вдох – выдох. Гомон превращается в громкой диалог – кто-то спрашивает, кто-то отвечает и спрашивает следом. Я тру глаза. Там, вдалеке, люди больше не кричат, не ругаются – они задают вопросы, и, судя по всему, их все становится очень много.

– Марина...

Вздрагиваю. Поднимаю голову, разлепляю веки, но какое-то время все еще вижу мутную рябь из различных оттенков черного и серого.

– П-плохо?

Моргаю, пытаюсь навести резкость. Отступает тошнота, головокружение, но приходят дрожь и слабость. Я вся по-

крыта холодным потом. Он не ждет, пока я узнаю его – обнимает меня и ведет. Голоса за спиной все говорят и говорят, гудят роем пчел. Несколько шагов.

– Садись, – говорит он.

Я верю ему. Нет причин не верить. Опускаюсь на упругую пружинистую подушку и чувствую, как рядом диван проседает под тяжестью его тела.

– М-может воды?

Теперь, когда нет нужды бежать и прятаться, он заикается сильнее. Я поворачиваюсь к нему, шурюсь, и только теперь мутные пятна превращаются в четкие линии и черты лица человека, которого я легко узнаю, даже не видя.

– Николай...? – мучаюсь, вспоминая.

– Псих, – улыбается он, глядя, как нелегко дается мне его отчество. – Не до в-в-вежливости сейчас...

А затем следует узнаваемый жест – нижняя челюсть выдвигается вперед и тянет подбородок вверх. Внутри неприятно шевелится колючее предчувствие. Всмотриваюсь в огромное лицо: морщинки, легкая щетина на чистом лице, аккуратная стрижка. Глаза грустные.

– Что случилось? – спрашиваю я.

Мой голос сипнет. Он говорит:

– По-одожди...

Протягивает мне пластиковую полулитровую бутылку с водой:

– Держи.

Тяну руку и вижу, как трясутся мои пальцы. Один глоток. Прохладная волна воды спускается по пищеводу и запускает каскад – словно пленник, просидевший в душном подземелье полжизни, уловил поток свежего воздуха, тело улавливает влагу. Еще глоток, словно глубокий вдох – в глазах проясняется, тело набирает температуру и перестает трястись. Протягиваю бутылку обратно:

– Где мы?

Смотрю, как он прячет глаза, хмурится, но ничего не говорит. Я поворачиваю голову и только теперь замечаю огромную пещеру здания: лаконичные стены, высокие потолки с квадратами кондиционеров, гладкий, некогда тщательно полированный, пол теперь покрыт толстым слоем пыли, на котором отчетливо виден рисунок нескольких пар ног, кожаные диваны, низкие журнальные столики. Холл первого этажа, сдержанный и лаконичный, как отпетый клерк. Тусклый серый свет пасмурного дня льется из-за пыльных толстых стекол входной двери, и на фоне светло-серого марева, словно театр теней, отчетливо вырисовываются фигуры людей. Они возятся с замком на двери. Я поворачиваюсь к Психу – его глаза – быстрой вспышкой растерянности к моим, но тут же опускаются вниз, рассматривая бутылку воды в руках. Мне очень хочется спросить: «Что мы тут делаем, Псих?» Вернее: «Что мы тут делаем *снова*?» Поднимаюсь, но тут же сажусь. Тело – сплетение слабости и пустоты, голова звенит от каждого движения, и звон этот мелкой дрожью скатыва-

ется по телу к ногам. Снова встаю на ноги.

– Ты к-куда?

Челюсть вперед, подбородок вверх. Он поднимается следом и берет меня под руку. Я благодарно киваю, а затем бубню под нос:

– Осмотреться.

И мы идем к дверям. Небольшая процессия из бывшей королевской бляди, растерявшей в далеком прошлом все королевское и оставшейся лишь со второй частью своего звания, и бывшего совладельца огромного сталелитейного завода, а ныне – постояльца комнат с мягкими стенами. Картинка щекочет фантазию и, наверное, показалась бы забавной. Не будь это – обо мне. Мы – я и Псих – медленно подходим к людям у дверей, и за несколько секунд до их лиц, узнаю голос одного из стоящих – высокий, с отдышкой тучного человека. Розовощекий поворачивается к нам первым:

– Замок не работает.

Его взгляд профессионально быстро сканирует меня, и от меня не ускользает легкая вспышка гнева, скривившая пухлые губы. Псих говорит:

– С-стоять мо-ожешь? – челюсть вперед, подбородок вверх.

Я киваю. Он отпускает мою руку, подходит к двери, забирает ключ у розовощекого и вставляет в личинку замка. И пока он возится с замком, ловлю себя на том, что мне становится гораздо легче. Я смотрю на огромного мужчину и ви-

жу, как изменились отношения между его телом и обитающей в нем жизнью – когда я увидела его впервые, он изрыгал собственные легкие, когда мы виделись в последний раз, он с трудом садился на скамью, но теперь высокий, оттого немного сутулый, мужчина крепко стоял на ногах, и руки беспрекословно слушались его. Второй шанс на жизнь? Я отогнала горделивые мысли о том, что, отчасти, это – моя заслуга. Все твои заслуги начинались и заканчивались подвигами в ширинке у Макс... Имя несильно, но ощутимо кольнуло, и я мысленно закрыла внутренний монолог.

Вторая фигура, среднего роста, с выправкой публичного человека, растеряла былой лоск, утратила статность и заметно обрюзгла на посту мэра. Короткая стрижка седеющих волос, дряблые, обвисающие щеки (рановато для такого возраста) и отчетливое брюшко над поясом брюк. Мэр отрешенно смотрел на улицу за стеклом, и глаза его, его осанка и даже руки, спрятанные в карманы, выдавали какое-то странное спокойствие – оно отдавало безысходностью.

Позади грохнуло – все обернулись: возле стойки администратора стояла молодая девушка. Она уронила одну из поллитровых бутылок с водой, что стояли на столешнице, и взорвала тишину пустого здания.

– Извините, – тихо оправдалась девушка.

Я её не знаю. Впервые в жизни вижу, и, судя по всему, остальные – тоже. Но мое внимание сейчас приковано совершенно к другому, а потому я лишь мельком оглядываю моло-

денькую девушку. Очень молоденькая, едва за восемнадцать. Отмечаю ладно скроенную фигурку и огромные голубые глаза, контрастирующие с темными волосами, а затем снова поворачиваюсь к огромным дверям. Тяжелая, прочная металлическая рама и ударопрочные стекла от пола до потолка – обзор широчайший. Все как ладони. Я делаю несколько шагов. Краем глаза ловлю на себе взгляды мэра и розовощекого. Несколько шагов – и я рядом с Психом. В этот момент он победно проворачивает ключ, и замок с металлическим скрипом закрывается. Псих дергает ручку:

– Закрыто.

Прежде чем повернуться и посмотреть в мои глаза, он быстро осматривает улицу за стеклом. Только после этого его глаза обращаются ко мне, и в них такой яркий калейдоскоп мыслей, чувств, эмоций, что я в сотый раз задаюсь вопросом: психи и здоровые – каковы критерии отбора? Глаза, бездонные, живые, наполнены грустью, сгущенной до черноты, и где-то там, на самом дне сверкает золочеными боками ужас.

– Как ты? – спрашиваю я, и в ответ получаю дистиллированную честность тихим, хриплым голосом:

– Страшно.

Я киваю ему – ему, именно ему, потому что из всех присутствующих только он вернулся в свой самый страшный кошмар.

– П-пойду я, поси-ижу... – говорит Псих, и оставляет ме-

ня, а я...

... я смотрю на улицу за огромными дверями и слышу, как в горле предательски клокочет моя тоска. Не смей, дура, тут не о чем жалеть. Глаза бешено шарят по широкой улице, мое сердце рассветает болью, завывает, заходится. Успокойся! За моей спиной тишина мертвого здания – не знаю, откуда, но точно знаю, что мы здесь совершенно одни – а передо мной расстелилась, раскинулась пустота. Вздох, всхлип. Моя ладонь – к губам, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь не услышал... Уж не зарыдать ли ты собралась? Да не собралась...

...я уже. Горячая вода – по моим щекам, а в следующее мгновение боль приходит, как избавление, о котором я просила: я стою за пыльным стеклом и смотрю на город огней, город наслаждения и порока. И реву. Тихо, глухо в собственные ладони. Штопор тоски до самого сердца – все это время мне не хватало каких-то пол-оборота! – и вот оно... Мое тело сторает, стонет, вьется в лапах истерики. Языки пламени лижут сердце, подступают к горлу, рождают горячие слёзы. Я плачу, я беззвучно тряусь, я даже не пытаюсь заткнуть свою тоску, просто снижаю громкость. Сквозь пелену слёз... Посмотри, Максим! Разбитые витрины, разорванные баннеры и раскуроченные рекламные щиты. Всклипываю, скулю сквозь пальцы – тише, тише! Мусор, руины и песок – много, очень много песка. Смотри, безумный крот! Я прячу тоску в ладонях, я закрываю, глаза, чтобы не смотреть, не видеть, не осознавать этого, потому что слишком больно, слишком гром-

ко... но поднимаю голову и смотрю: серые пятна – это собаки. Огромные стаи – сотня, две сотни особей, а может и тысяча. Они лежат, сидят, бегают, чешутся, ищутся, обнюхивают и порывают друг на друга. Я плачу. Город сверкающих огней, сладкого порока и людской низости превратился в надгробие. Посмотри, Фокусник... посмотри. Видишь? Видишь, что они сделали? Всхлипываю и задыхаюсь. Посмотри, что они сделали с твоей сказкой. Смотри, король никому не нужных людей, теперь здесь и в самом деле живут грязные дворняги. Руины, останки, раскуроченное прошлое, ставшее мусором настоящего. Мне не жаль приюта похоти и порока, просто правда – редкостная сука. Мне не жаль наркоманов и проституток, обитавших здесь и лишившихся своей пристани. Мне жаль себя.

Все это время я думала, что сошла с ума, и мир обезумел. Надеюсь, что спятила, и твоя смерть мне привиделась. Думала, что ты обманул весь мир.

Но, оказывается, ты и правда умер.

Вот уже пятнадцать минут мы сидим, укутанные ватной тишиной. Хоть бы часы на заднем фоне тикали, так и этого нет. Здание мертво, и это чувствуется нутром. Мы расселись на низких кожаных диванах, стоящих друг напротив друга. Я и Псих – на одном диване, Розовощекий и молодая девушка – на другом. Мэр неспешно мерит шагами расстояние между нами. Пустое здание буквально дышит молча-

нием, давит на уши тишиной, полумраком ложится на плечи и лишает самого элементарного – любопытства. Мы сидим, молчим, и нас не интересуют имена друг друга. Поднимаю глаза и рассматриваю нашу замысловатую компанию – ох, какая разношерстная публика подобралась... Мэр, вполне очевидно, уже бывший. Розовощекий и круглый, в бытность Максима занимавшийся большей частью бумажной работы – может юрист, может бухгалтер, а может и то и другое сразу. Молоденькая девушка, о которой я не знаю ничего, но сам факт её присутствия здесь окутывает тайной хрупкое, ладно скроенное существо. Девушка очень... хорошенькая. Красивой её назвать сложно, но миловидность и молчаливость делают её весьма привлекательной. Ну, Псих и я... корабли без пристани, один из которых уже потерял все, что имел, вторая – на подходе.

– Меня Марина зовут, – тихо говорю я.

Розовощекий сверкает бусинами темно-карих глаз и недовольно кривит губы:

– Мы в курсе.

– Полагаю не все. И я не знаю ваших имен, поэтому...

– Может, для начала лучше объяснить нам, что мы здесь делаем? – перебивает меня юрист-бухгалтер.

Я смотрю, как Розовощекий становится пунцовым, и решительно не понимаю, к чему он ведет, а потому:

– Вы предлагаете *мне* это сделать?

– Ну а кому же еще? – он еле сдерживает гнев. – Ведь все

это... – он обводит взглядом громаду холла, – ...ваше! Насколько мне известно, по документам вы числитесь владельцем...

– К-как тебя зо-овут? – голос Психа звучит глухо, низко, но в нем отчетливо звенит сталь и раздражение.

Он смотрит на девушку, а мы переводим взгляды на огромного, сутулого человека. Молодая девушка очень быстро пробегает взглядом по стареющему лицу, а затем говорит:

– Вика.

Её голос, тихий и кроткий, не дрогнул и не выдал волнения. Кротость кротостью, но кроха большого дядьку не испугалась. Псих согласно кивает:

– Николай.

Затем он поднял голову и посмотрел на мэра.

– Олег, – представился мужчина без лишних рассуждений.

Я посмотрела на Розовощекого – тот негодовал, но молча, а потому ярость, бурлившая в нем, но не имевшая выхода, щедро окрашивала лицо нездоровым красным. Но все же вопрос бухгалтер-юрист «снял с языка» у всех присутствующих.

– Я не владелец, – сказала я, глядя на круглого, почти бордового человека, – и вы должны понимать, что бумаги, которые вы выдели, не ценнее туалетной.

Розовощекий шумно фыркнул. Я собрала мысль в единое целое и продолжила:

– Все мы здесь не по доброй воле.

– Да нет, не все... – перебивает меня Олег и перехватывает внимание.

Я смотрю на него, выдыхаю и мысленно матерюсь – вляпаться в такое дерьмо! Как мне доказывать людям, что я не...

– Я здесь по собственной воле, – говорит бывший мэр.

Мы молча смотрим, как Олег присаживается на край дивана, привычным жестом поправляя брюки. Вика двигается, чтобы дать ему больше места, а я снова ловлю себя на мысли, что она в контексте этого места не дает мне покоя. Если и есть какое-то объяснение моему интересу, то все оно уместается лишь в одно четкое несоответствие – формы и содержания. Она должна бояться. Просто обязана, ведь даже если взрослый мужик с хорошим образованием и не малым багажом жизненного опыта за плечами не в состоянии держать себя в руках, то она должна визжать, пищать и по минутно падать в обморок от каждого шороха. Молодая, маленькая, тихая девушка природной отвагой и наглостью не обладала – это было видно. Сдержанная, но открытая, воспитанная, нежная молодая особа. Здесь была молчаливость, но не страх, здесь крохотная, ювелирная красота бережно и нежно лелеялась – ухоженные ручки, блестящие длинные волосы, хорошие джинсы, тончайшая качественная шерсть туники с длинным рукавом и дорогая обувь...

– Я заключил сделку, – говорит Олег.

Он перебивает мою мысль, и она ускользает, так и не явив

мне себя целиком. Я перевожу взгляд на мэра – тот устало разглядывает свои руки, словно то, что он собирается поведать нам, набило оскомину и не вызывает желаний повторять это снова. Но приходится, и он набирает полные легкие:

– Особо выбора мне не предоставили... – тяжелый выдох, рука поднимается к лицу и с силой трет переносицу. – Мою ситуацию вы все прекрасно знаете...

– Н-нет.

Олег убирает руку от лица и вопросительно смотрит на Психа:

– Вы что газет не читаете, телевизор не смотрите?

Псих пожимает сутулыми плечами:

– В психлечебнице не читают газет. И телевизор там по расписанию.

Снова тишина, но уже совсем другого оттенка – слышен скрип мозгов присутствующих. Быстрые, колкие взгляды, растерянные и неуверенные, но уже заражающиеся ужасом. Я тороплюсь успокоить их:

– Пожалуйста, не пугайтесь. Этот человек не опасен.

Взгляды на меня, а я пытаюсь быть убедительной – ненавижу публичные выступления, но пытаюсь донести мысль как можно правдоподобнее:

– Он вменяемее многих, уж поверьте мне. Он... он спас мою жизнь, – все трое внимательно слушают, а Розовощекий еще и становится заметно светлее. Я пытаюсь заставить незнакомых людей верить мне на слово. – Даже хотел выта-

щить меня отсюда, но это было не так-то просто сделать...
– пожимаю плечами, глаза в пол: в двух словах такое не рас-
сказать.

Мне на выручку приходит Олег:

– Ладно. Но остальные-то знакомы с ситуацией?

Поднимаю глаза и вижу, как Розовощекий снова багровеет, Вика не прячет глаз, но молчит, а я, глядя на присутствующих, начинаю понимать, что я и Псих не одиноки в своем неведении.

– Я не знаю, – отвечаю Олегу. – Последний год я прожила в глухой деревне. Там газет не бывает и в помине, а телевизор – бестолковая роскошь. Так что... я не в курсе.

– Меня не интересуют газеты, – спокойно говорит Вика.

Что вполне нормально, когда ты – молодая, симпатичная девушка. Но вот Розовощекий...

– Ладно... – удивленно мычит бывший мэр, а затем снова тяжелый вдох. – На меня завели уголовное дело по статье 290, часть 6.

– Что это значит? – впервые проявляет инициативу Вика. Её лицо озаряет детское, совершенно наивное и немного не уместное любопытство.

– Получение взятки в особо крупном размере, – внезапно подает голос Розовощекий.

Мы все бросаем взгляды на бордового мужчину, который злобно сверкает маленькими глазками, ждем, что он продолжит. Но он поджимает пухлые губы и замолкает. Олег кивает

и вновь берет слово:

– Меня должны были заключить под стражу до суда. За несколько часов до ареста являются они, и благородно предлагают выбор – тюрьма или...

– Кто «они»? – спрашиваю я.

Тут бывший мэр горько улыбается, а затем смотрит мне в глаза так, что я невольно вздрагиваю:

– Ваши друзья.

Друзья... Меня охватывает дикая злость – закусываю губу и, молча опускаю нос в пол. Друзья... А чего ты ждала, Марина Владимировна? Выдыхаю, правая рука к переносице – я прячусь в «домике», словно ребенок. Словно это все еще работает. Ну что ж, время собирать урожай своих идиотских поступков, родная, и нечего жаловаться, что тебя не предупредили. Я киваю, поднимаю голову и смотрю на бывшего мэра:

– Тюрьма или «Сказка»?

– Совершенно верно, – согласно кивает Олег.

– Ладно, – говорю я. – А вы? – я обращаюсь в Розовощекому, чей цвет лица уже вызывает беспокойство. – Расскажите нам, как сюда попали?

– Сразу после вас, – лает он.

Но тут тихий смех и Олег снова заговаривает:

– Его уголовное дело началось месяцем раньше моего. Вчера было первое судебное заседание, так что, полагаю, его привезли прямо из здания суда.

Юрист-бухгалтер яростно пыхтит, кусая губы, толстые пальцы сжимаются в кулаки, а лицо становится совершенно бардовым. Он демонстративно отворачивает от нас нос, а я опасаясь инфаркта Розовощекого и решаю отвлечь внимание на себя. Я рассказываю, каким образом попала в немилость к своим «друзьям», не скрывая причин. Но не могу выговорить «убила», и очень быстро перехожу к тому, как оказалась в деревенской глуши. Когда я подытоживаю свой рассказ последим из того что помнила, снова становится тихо. И пока все молчат, в моей голове складывается общая картина, которая написана до боли знакомыми почерком – уверенные мазки, твердая кисть и привычные полутона. Вот только один из образов все еще остается не ясным. Я смотрю на Вику:

– А ты как сюда попала?

Большие голубые глаза, взмах черных густых ресниц, а затем она открыто, без вызова или наглости, смотрит прямо на меня:

– Меня привез сюда мой бывший парень, – пожимает хрупкими плечиками. – Хорошенько подумать о нашем расставании.

Ох, как тихо стало...

Я мысленно матерюсь. Ну конечно! Красивая одежда, дорогая косметика, уход и забота, словно в твоих руках уникальная, бесценная хрустальная статуэтка. Белка! Мерзкий поддонок! Беспринципная тварь, злобный клоун с лицом хе-

рувима. Её спокойствие – результат не беспечности, а самой обыкновенной неопытности – заласканная, залюбленная, она привыкла находиться под охраной. Ей весь мир кажется огромной песочницей, а за спиной у неё – большой и сильный человек, который никогда не даст в обиду и не обидит сам. Господи... Смотрю на неё и не верю, что еще жива такая светлая наивность. Вера в кого-то всевидящего, честного и справедливого. Вика удивительно спокойна – смотрит на меня и в голубых глазах нежно светится наивность. А затем она говорит:

– Да вы не переживайте так. Егор не первый раз чудит. Это быстро проходит...

Вот тут моя душа делает крутое пике – желудок – вниз, сердце – в горло, спина покрывается изморозью и откуда-то изнутри, голос, больше похожий на хрип:

– Егор?

Она замолкает, кивает и говорит:

– Ну да. Вот увидите – он позлится и успокоится...

Никакого страха, ни единой дрогнувшей мышцы. Мир – огромная песочница. Твою мать... Она говорит мне, что Егор на самом деле довольно забавный, молчаливый такой, а я чувствую, как леденеют кончики пальцев, и вспоминаю, как в полном молчании он калечил мое тело, какими отточенными, прознающими были удары кулаков.

Только теперь меня некому спасать.

Итак, у нас бывший мэр, бывший бухгалтер-юрист, немо-

лодая вдова, бывшая девушка и предатель – люди, так или иначе задевшие самолюбие «сказочных» мальчиков. Никому не нужные люди. Несложно предугадать дальнейшее развитие событий.

Теперь тишина такая вязкая, что дышать трудно. Кроме Вики абсолютно каждый из присутствующих довольно быстро складывает дважды два. Ситуация очевидная, и каждый, кто знал истинное лицо «Сказки», чувствует, как особенно остро захотелось жить... Первым не выдерживает Псих:

– Р-разделимся и по-оищем еду, – говорит он, поднимаясь на ноги. – Судя п-по всему, мы здесь за-адержимся.

– Но в этом нет никакого смысла! – возмущенно вскрикивает Розовощекый, глядя, как поднимаются все остальные. Он вскакивает, голос его ломается, взвизгивает. – Какой смысл оставаться здесь? Пока не нагрязнули эти вшивые подонки нужно выбираться отсюда!

– Как? – спрашивает Псих.

Мы разом смотрим на большие двери, словно выдрессированные – за огромными стеклами разноцветные лохматые пятна осадили вход в здание. Их силуэты на фоне пыльного стекла размыто двигаются в импровизированном театре теней, но даже отсюда видно, что собаки нас совсем не боятся – они сидят, лежат, рыскают рядом с дверьми и любопытно водят носами вдоль щелей, вынюхивая людей. Один из псов поднимается на задние лапы и, оперевшись на дверь передними, громко и звучно рычит. Розовощекый в панике не за-

мечает совершенно очевидного – он продолжает гнуть свое:

– Ну и что? Возьмем палки! Возьмем кастрюли и тесаки!

– П-палки не по-омогут, – челюсть вперед и вверх, отчето глаза юриста-бухгалтера дико смотрят на Психа, но тот не обращает внимания и продолжает. – Одна н-нападет, и остальные н-нас разорвут.

Не дожидаясь ответа от Розовощекого, Псих поворачивается к Олегу:

– Мы с Ма-ариной н-начнем сверху.

Бывший мэр кивает, оглядывается на Вику, а затем снова обращается к Психу:

– Мы пойдем снизу и будем двигаться вам навстречу.

Встретимся в... – он смотрит на массивные наручные часы, – в восемь?

– Н-нет часов, – отвечает Псих, демонстративно показывая голые запястья.

Олег поворачивается ко мне, и я отрицательно машу головой. Олег лезет в карман за мобильником, но тут же озадаченно хмыкает – лезет в другой карман, а затем поднимает на нас удивленные глаза. Тут же Розовощекий и Вика следуют примеру мэра. Мобильников нет. Замешательство на лицах не заразно лишь для одного из нас – Вика недовольно хмыкает, а затем и вовсе морщит носик в знак насмешки над дурацкой выходкой. От её наивности у меня мороз по коже. Тут она расстегивает ремешок тонких часов, снимает с руки и протягивает мне:

– Возьмите.

Немного помедлив, я беру в руки весьма не дешевый подарок:

– Спасибо. Встретимся, и я верну их.

Но Вика машет рукой:

– Оставьте. У меня дома три пары.

Глотаю вязкую слюну, и снова благодарю девушку. Мир – огромная песочница.

– Ладно, давайте начнем, – говорит Олег, но Псих задерживает его, указывая головой на стойку администратора. Он говорит:

– Бе-ерите по од-дной. Я – уже, – и он поднимает вверх полулитровую, едва начатую, бутылку.

– Я не хочу пить, – говорит Вика.

Олег не спрашивает – он идет к стойке.

– Бе-ери, – повторяет Псих, обращаясь к девушке. – И бе-ереги.

Бывший мэр быстро возвращается с тремя бутылками – протягивает мне, Вике, а третью оставляет себе. Розовощекий недовольно сверкает глазами, но молчит. Олег быстро смотрит на часы:

– Пять минут третьего. У нас шесть часов.

– В восемь здесь, внизу, – уточняю я.

Олег кивает, и мы разворачиваемся. Но тут Розовощекий возмущенно взмахивает руками:

– А я? Что мне делать?

Мы останавливаемся, оборачиваемся. Псих говорит:

– Жди з-здесь.

И четверо людей, не сговариваясь, идут вглубь огромного холла первого этажа. Разбившись на пары, Олег и Вика скрываются в коридоре первого этажа, открывавшегося сразу за стойкой администратора, а мы с Психом идем к огромным дверям, ведущим на лестницу.

– Откуда начнем? – спрашиваю я.

– Неважно, – басит Псих. – Мы н-ничего н-не найдем.

– Почему? С чего ты...

– Бутылки.

– Что?

– Их п-пять.

– Ну и что?

– Никто н-не п-придет убивать нас, – челюсть вперед и вверх. – Нас за-аморят голодом и жаждой. Б-береги воду.

Только теперь я понимаю, что Псих организовал поиски лишь для того, чтобы не смотреть на смертников.

Когда холл пустеет, Розовощекий так и остается стоять посреди огромного пустого пространства. Какое-то время он сверлит пустоту невидящим взглядом, а затем начинает мерить первый этаж шагами, и их отзвуки глухо уносятся под высокие потолки, множась и растворяясь. Он останавливается, задумчиво потирает щеки и подбородок... Ему на выбор дали совсем другие варианты. Кажется, он продешевил. Сбросив оцепенение, Розовощекий срывается с места к стой-

ке администратора, хватает последнюю бутылку с водой и бежит за мэром и девушкой.

Призрак внимательно провожает взглядом последнего гостя. В радужке внимательных глаз расцветает первобытный азарт, сужая зрачки. Губы растягиваются в улыбке и, предвкушая начало игры, превращаются в тонкий серп убывающей луны. Вдох – глубокий, сладкий – выдох... Губы раскрываются и сплетают из воздуха не сложный лейтмотив завораживающей, сверкающей всеми гранями человеческих пороков, «Сказки»:

– И началась самая увлекательная из охот...

Глава 3. Поющая болью

Звук острым скальпелем пронзил теплую ткань вымышленной реальности – врезался, смешивая краски, спутывая порядок вещей и лишая время линейной последовательности, вклинился, вспорол горизонт – тонкая, теплая ткань сна, лишившись оболочки, таяла, рассыпалась и в тонких прорехах начала просвечивать действительность. А потом все исчезло.

Максим открыл глаза.

Тонкое лезвие скальпеля обрело реальную величину – глухое, еле слышное завывание.

Он поднялся, откинул одеяло и опустил, согретые сном и постелью, ноги на холодный пол. Быстро, бесшумно на цыпочках – к постели у противоположной стены. Он уже слышал этот звук и побоялся, что он разбудил брата. Максим подошел к кровати, наклонился – Егор крепко спал.

Голос протяжно взвыл. Максим вздрогнул, чувствуя, как холодеет спина. Словно вор, он пересек комнату и запрыгнул в постель. Он зарылся лицом в подушку, накрылся одеялом с головой и зажмурил глаза. Он надеялся уснуть.

Голос стихает, словно набегающая волна прибоей отползает обратно в море, шелестя галькой. Тишина. Максим внимательно вслушивается в ночное молчание спящего дома. Казалось, что голос выбился из сил. По крайней мере, парень

очень на это надеялся. Он не замечает, как сгребает в кулак уголок одеяла и вжимается лицом в подушку и ненавидит ночь за то, что та не умеет прятать жуткое. День умеет. День спрячет все что угодно, укроет шумом проезжающих машин, бормотанием телевизора и лязгом кухонной утвари. Днем можно...

Всхлип и протяжный вой.

... Максим сжимается и ненавидит отца за то, что из всего особняка, из трех этажей и восьми спален он выбрал две смежные, и заставляет их соседствовать.

Голос смолкает.

Днем можно уйти как угодно далеко. Днем можно увести Егора, чтобы тот, не дай Бог, не услышал. И не только плач. Она играет на скрипке в любое время суток, и тогда это становится приятной пыткой: играть – остро, неистово, со всей болью и страстью, она может нескончаемо долго. До тех пор, пока не вымотается и музыкой, как клещами, не вытащит из себя обезумевшее отчаянье. Пока не недоест самой себе. Но чаще всего...

Всхлип. Еще один.

...чаще всего она воет или разговаривает сама с собой. Хотя по манере, по тону, по плачущим ноткам в голосе, она, скорее всего, обращается к Богу, а не к себе, ведь у неё так много вопросов...

Голос за стеной протяжно заводит новую волну безумия.

...вопросов, просьб и просто слов – не всегда важных, не

каждый раз осмысленных. Ей не с кем говорить, но хочется, чтобы хоть кто-нибудь, пусть и бестелесный, услышал её боль, узнал, как ей тесно, душно здесь, как ей хочется летать... и, возможно, понял, что ошибся, поселив её здесь. И поэтому её слушает тот, кто слушает всегда и всех, а она... Она жалуется, спрашивает, смеется, ругается и гневно бубнит. Максиму всегда было интересно – отвечает ли Он ей? Или это просто поток бессвязного бормотания, за которым следует...

Вздых, всхлип... и новое завывание с надрывной хрипотцой.

Максим отбрасывает одеяло и садится. Стены толстые, и Егор никогда не слышит её, но Максим вынужден терпеть эту тихую, еле слышную пытку снова и снова. Иногда ему кажется, что именно поэтому отец и не позволяет им спать на разных этажах – чтобы они сходили с ума вместе.

За стеной вой превращается в слабое бормотание.

Максим поднимается на ноги, еще раз проверяет брата, а затем пересекает комнату и неслышно выходит из комнаты.

Узкий, темный коридор обычно освещается крохотными светильниками в потолке, но сейчас они выключены. Глаза к темноте привыкли, и он все видит, но медлит. Тихо, совсем неслышно – к её двери. Отца дома нет уже неделю, и не будет еще столько же. Бояться Максиму некого, и все же, когда он оказывается у двери, сердце подскакивает, замирает и несколько долгих мгновений остается неподвижным, и Мак-

симу кажется, что там, в груди, ничего нет...

Надсадный вой за дверью.

Сердце глухо бьет, и это похоже на удар кулаком. Она плачет, и там, в комнате-одиночке, каждую секунду каждое мгновение рождаются и умирают мысли. Они бесплотным вихрем летают по комнате, выются, кружатся, поднимаются к потолку, чтобы обрушиться на неё с новой силой. Они мучают её, и она бесконечно несчастна. Максим прижимается лбом к деревянному полотну двери и слушает музыку боли. За дверью вой переходит в тихие стенания. Он закрывает глаза. Там в комнате, наполненной её безумством, поток слов прерывается, спотыкается и превращается в захлебывающийся плач. Он слушает, как её голос пытается вытащить из тела одиночество. По лицу Максима катятся слёзы, когда алой любовью, раскрывая яркие лепестки, расцветает в мальчишечьем сердце – вьется, клубится, разливается в груди чистой, наивной, совершенно бестелесной нежностью к женщине за дверью.

– Пожалуйста, не плачь, – тихо шепчет он.

Она заходится в вое. Максим сжимает кулаки:

– Пожалуйста, не плачь.

За дверью ненависть превращается в звук, становится измеримой, осязаемой, и ему жалко её, но... это так красиво! Как игра на скрипке... Скомканная, смятая, зажатая в тиски, душа просыпается, раскрывает молчаливые уста и поет так честно, так искренне, как никогда не сумеет сказать – звук

льется, изворачивается, расправляет блестящие крылья, выгибает спину и льнет к твоим ногам, пробегая по телу тонкими пальцами. Только в слезах она – настоящая. И это ни с чем не сравнить, но все же...

– Мама, не плачь.

За дверью рождается тишина. Музыка боли, оборвавшись, растворяется в ночи, оставляя после себя невыносимый звон пустоты – он, словно тысяча игл, вонзается в уши, тело, мысли. Не дает молчать:

– Не плачь, – повторяет он.

Иглы тишины – все глубже в тело, но тут за дверью:

– Максим?

Её голос, хриплый, сухой, теряет музыку и становится больным. Внутренности схватывает, сковывает льдом, и каждый позвонок каменеет – как же редко этот голос рисует его имя. Он отступает, поднимает голову и смотрит на дверь. Откроет ли она?

– Я хочу помочь тебе, – внезапно и совершенно неожиданно для самого себя, говорит Максим.

Надо же, какая бравада! Он ждет, что она рассмеется по ту сторону баррикады. Он ждет, что она сравняет его с землей, как делала уже неоднократно. Ждет, что она обидит его, опять. И остается.

– Как тебе помочь? – спрашивает он.

Но тут из-за двери:

– Какая же я тебе мама, Максим?

Он открывает рот, но беспомощность забирает слова, запирает звуки. Новая игра, новые правила, которых он не знает. Она слишком опытна в том, что называется болью, ибо чувствует её каждый день. По-настоящему пугать умеет лишь тот, кто умеет бояться.

Голос за дверью:

– Мама, Максим, встает по ночам к колыбели, кормит, баюкает и отмывает твой крошечный зад от дерьма. Мама сидит у твоей кровати с тазом, когда ты блюешь. Мама краснеет перед учителями за твои промахи, так скажи мне, Максим... я – мама?

Максим стискивает зубы, бессильно сжимает кулаки. Он не может возразить – он еще слишком мал, чтобы найти аргументы и понять логику. Он просто чувствует, как внутри вспыхивает, рождается ненависть. Едкие клубы, завитки темно-синего яда – они оживают не в сердце, они рождаются в животе.

– Сколько тебе сейчас лет, Максим? – её голос становится совсем сильным и слабым.

– Девять.

– О... – голос искренне удивлен, – ты уже совсем большой.

Тишина.

Максим слушает свои ощущения – алая любовь, синяя ненависть расплзаются по телу. Они тянут друг к другу завитки густого тумана, словно щупальца, они растут, набухают, двигаются навстречу, заполняя собой. Смутные воспо-

минания рисуют незнакомые очертания на поверхности сознания, но узоры эти откуда-то из самой глубины, самого источника черной памяти. Вот-вот должно случиться что-то, что когда-то давно уже было. Так близко, совсем рядом... Он не помнит того, что должно произойти, но откуда-то знает, что это красиво. И за секунду до того, как красное сливается с темно-синим, рождая сверкающее, яркое...

– У меня для тебя подарок, – говорит она.

А затем в щели под дверью появляется что-то тонкое, длинное – с металлическим звоном брякается на пол и на половину показывается из-под закрытой двери. Максим наклоняется и подцепляет пальцами острый конец, тянет на себя и выуживает предмет. Это ножницы. Согретые её рукой, они быстро теряют тепло, скользят под пальцами, и что-то мокрое остается на коже, остывает, становится липким и сильно пахнет железом.

– Ты серьезно?

Псих кивает. Я не верю. В такое довольно сложно поверить на словах. Нужны хоть какие-то визуальные ориентиры – вырезки из газет, громкие заголовки в интернете и сообщения в новостях. Но их нет. За высоким забором, в тишине брошенного здания, в камере смертников не так уж много информации, кроме той, что вы – приговорены.

– Но как ты узнал? Ты же сам сказал – ни газет, ни телевидения?

Псих бубнит:

– Ты искать бу-удешь или н-нет?

Я ежусь – мне очень не хочется даже переступить порог.

Не из брезгливости, просто здесь все пропитано духом хозяйина комнаты, и мне не хочется прикасаться даже к дверной ручке, не говоря уже о том, чтобы рыться в его вещах. Псих, если и замечает мое упрямство, то вида не подает. Морщусь и прохожу в комнату.

Ох, Блоха... оказывается, ты любитель роскоши. А с виду-то и не скажешь.

Я прохожу в огромную комнату, миную кровать размером с континент, огибаю лаконичную тумбу мимо причудливого кресла в стиле хай-тек, подхожу к столу, где царит буйство компьютерной техники и всевозможных сопутствующих – от колонок различной величины, до незнакомых приспособлений, назначения которых я боюсь угадывать.

– Один из сан-нитаров, – говорит Псих, и его подбородок привычным жестом тянется вверх, – был на ре-едкость болтлив, – руки Психа беззастенчиво обшаривают полки и ящики.

– Ты говорил, что мы ничего не найдем?

– Я м-могу оши-ибаться.

Я хмурюсь, напоминаю себе, где я. Удивительно, но страх превратился в блеклое марево, стал акварельным фоном – разум как будто смирился с вынужденным соседством и перевел ситуацию из экстренного «ЧС» в безвыходное «мать

его за ногу, опять полное дерьмо...». Я устала бояться, и, в конце концов, из острой формы страх перешел в хроническую. Нужно быть честной – я знала, что подобное должно произойти, и вот теперь, когда оно случилось, все логично встало на свои места. В лучших традициях «Сказки». Так что давай, Марина Владимировна, разгребай.

Я вздыхаю и открываю ящик стола.

– Бинго! – я выуживаю шоколадный батончик и гордо смотрю на Психа.

Он поворачивается, смотрит на мою находку и кивает:

– Х-хорошо.

– Дуракам везет, – смеюсь я.

– О, как... – бубнит Псих, – Тогда где м-моя двухп-палубная яхта?

Я смеюсь:

– Ну, знаешь, если уж мы начали мериться психической несостоятельностью, то мне за мой идиотизм, как минимум, личный самолет положен.

– Ес-сли будем м-мериться – ты про-оиграешь, – улыбается он, обшаривая боковые полки компьютерного стола.

– Это еще почему?

– У меня с-справка есть.

Охренеть. Даже в этом вопросе можно быть вшивым дилетантом.

– Ладно, – говорю ему. – Один – ноль в твою пользу. И что прямо совсем, как в девяностые?

– О-очень похоже.

– А в чем разница?

Псих пожимает плечами:

– В м-масштабах, по-олагаю. Т-только в на-ашем городе.

Хотя в-вряд ли подобное м-можно п-провернуть без участия централиз-зованной власти.

– И зачем это ей?

– Н-не знаю. М-может, с-социальный эксперимент? А м-может... – он обходит стол, подходит к платяному шкафу и открывает его, – ...государство и правда б-больше не к-контролирует про-оисходящее.

– Это невозможно.

Псих роется в вещах, забираясь все глубже в раскрытую пасть шкафа, отчего голос еле слышен и ему приходится на-прягаться:

– И тем не м-менее...

– Подожди, подожди... – говорю я. – Ты же понимаешь, что об этом бы трубили все новостные каналы!? Я бы точно услышала! По твоим словам, в городе царит полнейшее беззаконие – рейдерские захваты, «заморозка» зарплат на крупнейших предприятиях, бунты, массовые протесты, свержение половины чиновников законодательного собрания, главы города и...

– М-марина, – Псих вылез из кафа, повернулся и устало посмотрел на меня, – я пра-авда не знаю, что п-происходит. Но ис-стория знает п-примеры того, как огромная страна мо-

жет с-спрятать целый город, – сказал он, – и люди ни-ичего не будут знать о т-том, что в нем т-творится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.